

Фаустус и другие тексты

Содержание

От составителя 7

Фаустус

Три фрагмента 10

Воззвание к Орфею 20

Мысли внахлест—песнопение доктора Фаустуса 27

Фауст в сумерках со своего балкона 41

Завещание доктора Фаустуса 48

Речь умирающего и, вслед, полный нуль 53

Эйфорическая смерть доктора Фаустуса 61

Вот один из текстов... 65

Счастливы ли вы... 73

Приложение

Разрозненные тексты

Циркуляр любителям 76

Пространство и живопись 77

Метапластика 81

Зритель, взволнованный встречей... 83

Сон об истинах 89

Четыре стихотворения

Предисловие 94

Литании 96

К. К. О. ПИКОТЕ 100

КРИТИ 102

Нечитаемые письма 103

Ален Жюффруа. Черная буква 111

Дополнение

Ролан Барт. Рекишо и его тело 134

Краткая хронология жизни и творчества

Бернара Рекишо 172

От составителя

Безвременно ушедший из жизни (он выбросился из окна своей мастерской за день до вернисажа своей третьей персональной выставки) Бернар Рекишо (1929–1961) — один из самых самобытных и ярких художников-новаторов середины XX века, олицетворение «смены вех», происходившей в 50-е годы в западном искусстве. Его не принадлежавшее ни к одному течению, но стремительно проложившее траекторию между информальной живописью и новым реализмом, поп-артом и леттристскими поисками, постоянно изобретающее новые формы и техники (для которых критикам пришлось изобретать специальные термины, такие как *реликварии*, *бумажные подборки*, *графические следы* и т. п.) творчество предвосхитило основные пути развития изобразительного искусства в последующие десятилетия. Кульминацией творческого пути Рекишо стали его написанные перед самой смертью «*нечитаемые письма*», симбиоз, если не синтез, графических поисков Мишо и Массона с, быть может, та-рабарской заумью дадаизма и леттризма, в которых он окончательно подрывает основы традиционных семиотических механизмов означивания. По счастью, творчество не стремившегося ни к какой публичности художника — (в своих дневниковых записях он декларировал невозможность встречи произведения со зрителем) — получило широкую известность и было высоко оценено уже вскоре после его ухода: с одной стороны, критика увидела в нем второй, «интровертный», полюс живописной эпохи в пандан к другому автору «прыжка в пустоту», экстраверту Иву Кляйну; с другой, касательно целокупной фигуры

Художника как выразителя пресловутого «внутреннего опыта», маститый Ален Жюффруа в своей программной статье о трагическом периоде ломки во французском искусстве и обществе назвал его «великим романтиком, Новалисом XX века». Далее, уже в 1973 году увидел свет *Catalogue raisonné* художника, «теоретическую» часть которого составила программная для Ролана Барта работа «Рекишо и его тело». В том же каталоге были впервые опубликованы и обнаруженные после его смерти литературные опыты художника, максимально полно отразившие его романтическое восприятие жизни на пределе головокругения и страха...

В настоящее издание включены все прозаические тексты Рекишо, за вычетом фрагментарного «Дневника без дат» и восемнадцати «Писем к другу» (художнику Жану Критону), а также четыре из шестнадцати его опубликованных стихотворений.

ΦΑΥΣΤΥΣ

Три фрагмента

Нет, не в уединенном замке на опушке леса вершилась прелюдия к его жизни. Никакого дотошного пестования в детстве под стеклянным колпаком, где вызревали загадки, в полноте тишайших немотствий, черных взглядов, собирающих мед среди цветущих горлиц детства; никаких потаенных красот, никаких тайных сборищ для освящения, прятких призраков, обаятельных демонов и божеств, выступающих словно феи, никаких черных ряс на сумрачных гермафродитах.

Не в коллеже, меж десятью и пятнадцатью годами, его ангельский лик превратился в облик юного бога, потупляя время от времени взоры во власти утонченнейшей медитации, про которую никто не сумел бы сказать, идет ли речь о сосредоточении мысли или же о ее обмороке. Нет, в детстве и отрочестве Фауста не найти ничего подобного, ибо Фауст рос не так, как в его возрасте дети. Вообразить его ребенком, разве это не оскорбить его? и какой прозорливец сумел бы назвать его возраст? Сколько дерзости, чтобы его огласить! сколь бессмысленно определять! И все же, представляю вам этого...

Представляю вам человека, и это наполовину я сам, наполовину кто угодно, но прежде всего никто. Сей персонаж родился под провозвестия интеллектуальнейших тропиков. У него не будет ни отрочества, ни зрелости, ни, к концу, возвращения в детство. Он родился в двадцать лет, как его мифический брат. Двадцать лет, впрочем, слишком уж мало; что такое двадцать лет для духа? И слабость здоровья приведет его к затуханиям; так он

окажется подвержен чередующимся смертям и рождени-ям, подчас весьма поспешным. Качественно мгновения его существования будут такими, что покажется, будто природа захотела уравновесить в нем чрезмерно возвышенные вспышки света, допуская их только изредка, без остатка отведя самую частую часть его личности летаргии. Так что представьте себе периодическую летаргию, прерываемую лирическими вспышками, и вы составите представление об этой сумрачной фигуре.

От природы он был призван к восхождениям на самые рискованные вершины. Он, как и множество прочих, хотел пуститься в приключения в неизведаннейших краях; к тому же пронизательный инстинкт подстегивал его в желании развивать себе подобных. Пусть тем не менее злые языки и не чают увидеть в нем нового Дон Жуана, ибо если душа его, какую бы адонисийскою ни была, не упускает из вида, что любовные встречи — лишь тема для бегств без берегов, он, чтобы прочертить границы своих внутренних возможностей, предпочитает более пассивную, более зависящую от него компанию, подвластную интимным экспериментам, более опасную в своей неустойчивости, но и теснее смыкающуюся вокруг его личности. Какое ему дело до всех этих любовных историй с их бегствами без берегов, до горячечных скитаний, коли ему самому неведомы размеры его острова; коли он спит и видит испить до дна нутряное существование абстрактных вещей, коли на основе принципиальной гипотезы сомневается даже в конкретных чувствах; коли уничтожает самые ученые, самые широкие, самые солидные законы, переносит их в арканы своего мозга (крупница субъективности, как он любит повторять, способна свести очевидность к нулю), коли творит себе кумира из своей изоляции, когда та готова возвыситься до озарения, до авторитарных нотаций одинокого крика. Я знаю, что

в нашем мире подобная редкость может обратиться обольщением; не рассчитывайте, однако, ни на что от него на этих прибрежьях.

И точно так же, когда мы говорили, что инстинкт навевал ему желание развить себе подобных, то этим подразумевалось углубление его собственного случая, культура по его образу и подобию, взгляд, обращенный внутрь рассудка, зондирующий глубины тем более важные, что для него они были личными, фундаментально близкими, бездны тем более волнующие, что соседство с ними не делало их более явственными, бездны парализующие, поскольку нашему герою случалось приближаться к ним настолько, что, когда отступало первое головокружение, они уже составляли с ним единое целое. Он был тогда в совокупности и бездной, и изумлением, автором собственных затруднений; в таком состоянии он становился подозрителен сам себе, и если некоторые адепты спиритуализма могли рассматривать его сомнения как форму отрешенности от самого себя, мы скажем, что для того, чтобы слишком острым глазом всмотреться в пыл, блеск которого был создан не для него, ему случалось сомневаться даже в своих сомнениях, отрешаться от своей отрешенности, быть ослепленным собственным светом и тонуть в той странной летаргии, о которой уже упоминалось.

Мы знаем, насколько дорог ему мрак, знаем, как во время ежедневного пробуждения он всякий раз до крайности изумлен, чувствуя, что мог бы не возродиться, и этой мысли достаточно, чтобы погрузить его в состояние, которое могло бы побудить нас сказать, что он постоянно курсирует взад-вперед между черной бездной и бездной белой.

Кто знает, не затер ли наш герой нечто до тех пор запретное из непознанного наукой, не был ли он наделен при рождении чудесными способностями, какими

обладают гениальные живописцы и музыканты; не подпевал ли лесным гномам архангелическим глаголом по ту сторону науки, по ту сторону гениальности: нектар его мысли становится подчас плотью и именно это питье и понудило его родиться.

Вы можете счесть, что он был создан для монастырской жизни: так и есть, он получил свои первые уроки за монастырскими стенами. Если он там не остался, то потому, что не любил слишком складные мысли, которые ему норовили привить. Ты же не решаешь подумать так или этак, полагал он, ты открываешь то, о чем думаешь, и самое большее — можешь за этим наблюдать. Такая теология избавила его от карьеры епископа.

Зато он возвел в своем сердце церковь для мистиков без догмы. Тот, кто захотел бы познать ее, был бы опрометчив и бестактен — бестактность, впрочем, напрасная: не то чтобы он эту церковь скрывает, но она зарыта в нем настолько глубоко, что ее не всегда различают его собственные глаза. Культ этой церкви состоит в действии, которое он предпринимает, чтобы ее прозондировать; там, куда погружается зонд, он знает себя лучше. Он спит и видит узнать, докуда может длиться спуск. Не спрашивайте его об этом, он вывернется пируэтом вроде: «я не спускаюсь, я планирую»; или просто: «пока меня не сморит сон».

Если он разговаривает с вами, притворитесь, что его понимаете; тогда, по крупицам, вы отловите несколько странных фраз, которые в свою очередь окажутся заброшенными в ваше одиночество зондами; и когда вы забудете его лицо, его слова вновь всплывут в вас и окажутся зондами, которые вы сами запустите в него, того, кто обитает в вас, и тем самым, обходным путем, вы до него доберетесь.

Вы увидите, почему он сотворил из самого себя кумира; почему этот кумир невозможно водрузить на пьедестал; сколь внимателен его сон — и сколь хрупко это внимание; как его двойник мечется по улицам, но не утруждает себя знанием этого; как он смог сказать: «Сократ, это я».

Умственные способности для него не в счет, впрочем, он не знает в точности, что это такое; все умы функционируют на один лад: идея не выбирается, она берется у того, у кого находится; идея может быть дана любому, важно суметь удивиться при появлении умственного феномена и уловить его механизм. Материалом ему в этой внутренней кухне служат, очевидно, в первую очередь его собственные идеи, и если выше я упомянул, что он сотворил себе кумира из самого себя, скажу точнее: кумира из хитросплетений своего мозга, из фрагментов этого хитросплетения, из их подвижности, их закона. Лучше всего он наблюдает за ними, когда не теряет почву под ногами, но его все еще притягивает это погружение.

Вы ошибетесь, если подумаете, что он раздваивается, будучи просто-напросто одновременно подопытным объектом и экспериментатором. Если он и является объектом и субъектом, то к тому же и влюблен в объект, он — его организатор, путь развития этого объекта, он не двоица, а троица, четверица и т.д. Подчас он спрашивает себя, скольким ему необходимо быть. В последнее время он спрашивал себя, имеет ли он право быть господином своего функционирования; это господство заставило бы его бояться, что он лишит свое естество естественности проявления. Он не хочет ни себя фабриковать, ни чрезмерно направлять, ибо тогда ему было бы слишком легко себя понять. Он хочет самого себя в сыром виде; ему хотелось бы уловить себя без ретуши, застать наголо, врасплох.

Подобная внезапность — дело деликатное, решающую роль здесь играет время — мгновение, следовало бы мне сказать: я умираю каждую минуту в форме своей души, которая больше никогда не вернется. Это сознание бегства и одержимость анализом ускользающей стихии лежат в основе его тревоги. Если она охватывает его в разгар работы, он рискует утратить нить своей мысли, дать захлестнуть себя чувствам, заблудиться в неуправляемых грезах.

Тогда он пользуется случаем: если он чувствует себя мечтателем, то чувствует себя поэтом, свободным, совершенно расслабленным. Созрев для исследования, устремляет острый как у рыси взор на состояние своего ума, которого не предвидел; но едва ему стоит заметить слабый отблеск этого мимолетного состояния, как его уже след простыл.

Одно мгновение стóбит у него другого, по крайней мере мгновение в себе; я имею в виду, что какое угодно из них может само по себе послужить поводом для вивисекции, но вполне естественно, что не всем выпадают одни и те же формы проникновения, есть и такие, которых он едва касается. Сколько мгновений ускользнуло от него таким образом, а они могли бы, чего доброго, стать ослепительной смычкой. В часы усталости он говорит себе: «У меня из-под носа, может статься, упорхнуло мгновение, я отнесусь к этому с легкостью. Как-никак я не помню, чтобы его зафиксировал; впрочем, зафиксировать его ничего не значит, фиксация — это всего лишь воспоминание и никак не присутствие. Но какая важность, придут другие и будут опять такими же».

Бесполезно говорить вам, что человек этот не женат; одиночество в любви не кажется ему достаточно интимным. «Как отыскать кого-то наедине с собой, говорил он мне; чтобы застать одиночество врасплох, надо быть

столом, люстрой, мышью, призраком. Впрочем, даже если бы я был мышью или призраком, я бы оставался холостяком; если бы я видел, как ведет себя моя супруга, она бы знала, что я за ней наблюдаю, и я бы не знал, что скрывается за ее поведением, мне нужно было бы научиться читать в душах; мысль о живом существе его окончательно отсекает».

Шокированный его пренебрежением, которое тем не менее казалось мне основанным на делах любовных, я счел было, что подловил нашего инфаустатора и мне удастся подвести его к чувствам не столь суровым. «Вы говорили мне об исключительных качествах некоторых мгновений, об особой важности, которую они приобрели в вашей жизни, о том, наконец, как они смогли стать первостепенным предметом вашего внимания. Вы же не будете отрицать, сударь, что любовь способна стать хорошим поводом для обретения таких мгновений? Пусть эти мгновения мимолетны и с трудом уловимы — не придает ли определенную ценность им именно их редкость? И не способна ли любовь, милостивый государь, послужить средством познания мгновения?» — «Чтобы довести меня до подобного средства познания, ответил он, нужно было бы признать, что все остальные способы ему уступают. Важно не иметь в своем распоряжении те или иные средства углубления знания, а иметь одно и воспользоваться им до конца. Какой мужчина, какая женщина посмели бы сказать «да» столь утонченному рабству? Только с самим собой можно обменяться долгосрочными клятвами столь бесчеловечной природы. Впрочем, я уверен, что любовь — всего-навсего иллюзия: никогда не любят кого-то, любят его любить, по сути, прежде всего любят себя. При взгляде под этим углом любовь интересуется меня, я ею пользуюсь, я люблю себя на всю жизнь». И иронически добавил: «Я женат на себе; моя половина,

возможно, — всего лишь одна десятая, вы же знаете, что я еще не нашел своего числа».

В изумлении я возразил: «Но, сударь, плоть!», на что он: «Плоть слишком стыдлива; видите ли, с другими ты всегда несколько сдержан, слишком возвышен или же мерзок; или же подлинное просто-напросто не слишком выставляет себя напоказ. К тому же с другими каждый просто оказывается более или менее кем угодно; на вершине ты всегда один. Высшие остаются безвестными».

Он, кажется, пронизан сумерками, он переносит и заключает в себе невысказанную целокупность. Не унесет ли он ее, умирая, в несказанную вечность? Мне показалось, что, разговаривая со мной, он на мгновение вышел из тьмы.

Однажды вечером я проводил его до дома. «Не хотите ли зайти?» — предложил он мне. Возможно, это был удобный случай узнать его изнутри — стены вторят привычкам душ, которые в себе заключают. Я сказал «да». Он впустил меня в пространство, которое я не знаю, как назвать: комната, логово, святилище или лаборатория. Единственное помещение было пусто, белые стены голы; на колченогом столе «Учение Рамакришны» и «Жюльетта» маркиза де Сада. Я заметил только надписи карандашом на стенах, и как только он зажег свет, подошел поближе и смог прочитать где незаконченные, где полустертые фразы, подчас довольно пространные тексты.

Пока я производил этот досмотр, он ушел в себя. Вернувшись к столу, я сказал: «Вы не много читаете». Он в ответ: «Нет, зато читаю до конца». Это «до конца», казалось, описывает его целиком, но что это был за конец?

Я отважился спросить об этом; он ответил: «Конец спуска, вы, возможно, в один прекрасный день до него доберетесь». — «Ну а вы?» — сказал ему я. — «Я, думается,

его видел, но не уверен в этом, все было так тонко. Впрочем, кто мог бы сказать, так ли все было? Решить могу только я. Чтобы ответить вам, мне нужно было бы знать... Для вас все может быть совсем не так; и как же тогда все это обернется? Про вас мне это неведомо еще более, чем про себя, а уже и про себя мне это абсолютно неведомо. Мы касаемся здесь обособленности высот; однако же, когда мы на них окажемся, мы будем вместе. По меньшей мере, я уповаю на эту гипотезу, в ином случае все не сможет закончиться». — «Что же тогда остается сделать?» — «Нас понять», — ответил он.

Он, несомненно, придает слову «понимать» редкостное значение — я говорю «слову» за невозможностью сказать «вещи».

Понять, уточнил он, это перейти от состояния слепоты к положению провидца. Тот, кто понимает, говорит: вижу. Со слепым абсолютно не так, ведь слепой понимает, что не видит, — не понимать для него уже не так и глупо. Но понять, вступить в темноту, уловить, что ты в нее вступаешь, — какая внутренняя метаморфоза; заметить, что понимаешь, что понял, не сумев при этом увидеть, что произошло, или присутствовать при этом изменении. Я уверен, что никто не знает, что именно делает, когда понимает. Понять, понимать... поймет кто-то другой, только не я. Мне бы хотелось так же просто понимать себя, как я себя люблю.

И тем не менее я тоже уже более не понимал: это слово, «понимать», внезапно стало узловатым и смутным, оно стало чистым звуком, чьи механизмы донельзя темны.

Он — человек, к которому я приблизился ближе некуда, но общение с ним мне не удалось — он заставил меня прикоснуться к неустранимому разделению. И я ушел от него, не сказав ни слова, в оцепенении осознав, что сблизился с тем, кто, при всей своей чуждости безликому

покою невинности, банальному удовлетворению инстинктов и неутоленным мукам страстей, проник в себя до такой степени, что проник и во всех остальных.

Среди надписей на стене была такая:

Я—действующее лицо своего собственного апокалипсиса, он лично мой, когда я его переживаю, но это также и место встречи; быть может, после него удастся уловить смысл понимания.

И еще одна надпись:

Если мы хотим, чтобы произведенное мыслью впредь отличалось и превосходило то, что уже было произведено, нужно изменить, улучшить, пересмотреть значимость или природу мышления. Нет ли чего-то анахронического в том факте, что мыслитель XX века оперирует тем же ментальным механизмом, что и мыслитель XV века, так что честолюбие наших мыслителей, не желающих, чтобы их подловила на ошибке их собственная мысль или мысль других, быть может всего лишь древняя склонность, заблуждение.

Когда я узнаю, что означает «я мыслю», слово «понимать» обретет свой смысл. Но «я мыслю» может свой смысл менять: в зависимости от того, кто мыслит, меняется качество смысла. Для одного «понимать» означает одно, для другого уже что-то другое.

Греза о бездне: думать, что понимаешь.

«Знание» получит определение, когда будет найдено, как далеко с ним можно зайти, но конец еще не достигнут.

Понимание будет познанием «я мыслю».

Когда я буду знать, что именно говорю, когда говорю «я мыслю», тогда понимание станет познанием.

Познание будет для всех, поверим в это, одним и тем же. Станет познанием.